

## ФА, СИ, ЛЯ...

Привычным, отточенным за восемь лет движением, Муся пристроил на плечо скрипку. Это был дорогой, старинной работы инструмент, которым музыкант очень дорожил. И сейчас ему больше всего было жаль ее, свою верную подругу, которую подарила ему мама. «Мама... Не плакать», – он поднял смычок. Красиво и легко провел по струнам.

Фа, си, ля, до второй октавы и снова си, фа, ми. Над замершей толпой поплыли первые звуки, тихие и дрожащие, пока Муся воевал с волнением, однако, с каждым мгновением становившиеся все уверенней.

Иногда Мусе казалось, что он родился со смычком и скрипкой и сразу дал первый концерт. Время, когда бы в его жизни не звучала музыка, он не помнил. Первым учителем Муси стал сосед, давший однажды плачущему малышу старую скрипочку, оставшуюся от внука. Все думали, что мальчик поиграется с инструментом, как с обычной деревянной игрушкой, но тот вдруг заиграл! Так старательно водящий смычком по струнам, Муся неожиданно для всех и даже для самого себя «вывел» свое будущее. С этой минуты его душу наполнила музыка. Муся слышал ее в каплях дождя, стекающих по оконному переплету, в туманах, стелющихся над болотами, окружившими его родные Бельцы причудливым ореолом, в легком ветерке, колышущем озерную гладь.

Муся почти никогда не расставался со скрипкой, которая радовала и огорчала, дарила надежду и причиняла боль. «Странно, почему Сева так плачет, когда его тетя Галя на занятия ведет? Как люди могут жить без музыки? Если бы она исчезла из мира я, б, наверное, сразу умер».

Ми, соль половинка, ми четверть. Рука не дрожала, звуки лились ровные и твердые. Смычок «летал» по струнам сильно и властно, словно Муся стоял на сцене, а не на выжженной солнцем окраине станицы. «Главное, не бояться. Страшнее уже не будет». Соль, си, ля...

Когда его стали звать Мусей он не помнил. Как-то так само получилось, что мамино долгое и нежное «Абрамуся» превратилось в короткое и деловитое «Муся». Даже в газете, которую с торжественным видом принес дед, его называли домашним прозвищем. Муся не обиделся, все-таки не каждый день про тебя в газетах пишут, чего уж сердиться на такие пустяки. В тот вечер вся семья собралась за большим круглым столом, даже папа пораньше из своей больницы вернулся. Мама читала статью, а Муся тихонько играл. Сам то он читать еще не умел, да и считал не очень быстро. Единственное, что он делал не просто хорошо, а удивительно хорошо – играл на скрипке. В тот вечер даже дед согласился, что Мусе не обязательно становится врачом, как всем мужчинам в семье. Он будет лечить души людей музыкой. Муся тогда даже заплакал, так ему стало жаль больных и нестерпимо захотелось их всех вылечить. Ради этого он готов был отказаться от ужина, и от вкусного молока на ночь и от яблока и от... «Подожди, сынок, отказываться. Как же ты играть будешь голодным? У тебя сил не будет!», – мама ласково прижала сына к себе, радуясь и вместе с тем страшась его решимости.

Ля, соль, фа, ми. «Мама...», – рука Муси дрогнула, и он тут же запретил себе думать о ней. «Нельзя! Надо продержаться хотя бы куплет. Нет! Еще припев. И еще куплет. Пока не опомнились»

Мусе нравилось идти по улицам Бельцов за руку с дедом. Да и с отцом тоже. Врачей Пинкензонов, казалось, знали в городе все. Их все время останавливали, чтобы поздороваться совсем не знакомые люди. Мужчины поднимали шляпу и пожимали руки, женщины начинали раскланиваться еще издали, а, когда подходили ближе, улыбались и совали Мусе в руку петушка на палочке или мягкий калач. Когда

семье пришлось эвакуироваться на Кубань, отец и тут уму-дрился стать известным всей станице. Сколько раз Муся просыпался не от грохота снарядов, а от нетерпеливого стука в дверь – была нужна помощь, отец уходил и возвращался домой под утро. Если возвращался, конечно, а не сворачивался как в детстве «калачиком» на двух поставленных рядом стульях в ординаторской до следующего грохота или крика: «Раненых привезли». Вот ради этих «привезенных» семья Муси и не успела уехать от лавиной накрывшего станицу фронта. Вернее, не захотела, не смогла бросить ни обгоревшего летчика из пятой палаты, ни контуженного танкиста из третьей, ни санитарочку из первой с ампутированной после гангрены рукой. А потом эта смертельная лавина унесла с собой все: и раненых, и Мусины одинокие вечерние концерты в отцовское дежурство, и госпиталь, и саму жизнь семьи Пинкензон.

«Ре. Половина с точкой. Почему эта длительность многим кажется такой сложной? Все же понятно – половина и еще ее половина, ну, половина с четвертушкой, это не сложно, это красиво» Муся перевел дыхание, и новая фраза зазвучала так мощно, что люди в толпе вдруг изменились.казалось, страх перестал тянуть к их душам свои отвратительные мертвящие щупальца, и на них неуловимо повеяло ветром надежды. «До, си...»

Лежачих раненых добивали в палатах, тех, кто мог ходить вытаскивали во двор и там расстреливали. Молоденькая санитарочка лежала на выжженной солнцем земле, глядя остекленевшими глазами в синее безбрежное небо. На белых бинтах расплывались пятна свежей крови. Отец Муси, не представлявший, что можно вот так расправиться с беззащитными людьми, первый раз в жизни преступил через клятву Гиппократата. Доктор Пинкензон не стал оказывать помощь немецким солдатам, которые уже заняли койки, еще хранившие тепло уведенных на расстрел. Мама до вечера металась по знакомым, пытаясь «пристроить» Мусю, но он упрямо возвращался домой. Вечером пришли и за ними.

Рыжие брови немецкого офицера сначала недоуменно взметнулись, а затем сошлись в одну сплошную линию, не предвещавшую ничего хорошего для худенького мальчика со скрипкой. «Замолчать! Свинья! Не играть!» Люди, толпящиеся вокруг Муси, зашевелились. В прозрачном летнем воздухе сначала негромко и слабо, а затем все звонче и силь-

нее звучало: «Кипит наш разум возмущенный...» Муся играл, песня, заполнив площадь, прокатилась над станицей и ушла дальше к удивительно голубому в тот день небу. Застывшие от неожиданности, солдаты оцепления даже не делали попытки взяться за оружие. Зубы капитана заскрежетали, глаза из светло-голубых, «породистых» стали черными и далеко «не арийскими». Когда этот оборвыш попросил разрешения сыграть последний раз на скрипке, которую так старательно прижимал к груди, офицер решил, что он просто оттягивает момент расправы. Но этот еврейский выродок посмел играть «Интернационал»!.. Он что, сошел с ума, увидев расстрел отца, пытавшегося выпросить пощаду сыну, и смерть матери, бросившейся на труп мужа? Как иначе можно объяснить эту дерзость?! Рука метнулась к кобуре.

«Ре, си, соль. Больно...Очень... больно...Играть...Еще игр...» Пятно крови на белой рубашке отца, волосы матери, поднятые ветром, лица людей, громко выводящих «в смертный бой...», зеленые мундиры немецких солдат, рот офицера, кривящийся в диком крике, слились в глазах Муси в страшной, нереальной пляске. Через мгновение Муся лежал на земле, левой рукой прижимая к себе скрипку, а правой крепко сжимая смычок. Его черные глаза смотрели в самую глубину бездонного летнего неба, словно надеясь увидеть там победный день, который он сейчас приблизил ценой своей маленькой одиннадцатилетней жизни.

## ГЛУБОЧИЦА

На улице послышались грубые окрики полицаев, отрывистая немецкая речь и лай собак. Фаина, отодвинув занавеску, выглянула в окно.

– Мам, гляди-ка, немцы по всем избам шарят, всех из домов гонят. Даже деда Митрича вытолкали на улицу.

Дед Митрич, самый старый в их селе, ноги лишился еще в гражданскую, с тех пор ковылял на двух костылях, «прыгачил», как говорила веселая хохотушка Райка. Впрочем, она это делала не со злостью, по молодости чего только не ляпнешь, никто же не думает, что словами обидеть может. А Райка вообще на язык всегда скорая да острая, только сей-

час она шла вместе со всеми, выгнанными из своих домов, побледневшая и как будто резко посерьезневшая.

– Мам, а куда это их всех? – не унималась Фая, придерживая перед лицом занавеску и осторожно выглядывая в маленькую щелку между тканью и простенком. Окна в избе были большие, их еще Фаинин дед вставлял, хороший стеклышко был, все село к нему ходило, считай, каждый дом его окнами на улицу смотрел.

– Уйди, уйди, от греха! Не высовывайся, авось мимо пройдут, – Дарья беспокойно заметалась по избе, а потом резко, остановившись, откинула крышку подпола.

– Полезай! – скомандовала она дочери.

– Зачем? Не хочу! – отшатнулась та, – я не буду больше в окошко глядеть. Не хочу в подпол, там темно.

– Лезь, лезь скорей! И нос не высовывай, чтоб не случилось. Меня заберут, ночью выберешься, и в лес ступай, там партизан найдешь.

– Куда заберут? – побледнела Фаина и бросилась к матери.

– Чует мое сердце, не к добру все это, наши-то им третьего дня дали жару, вон как поезд-то ихний пылал. Вот они, поди, и озверели. Давай, лезь! Хоть ты живой будешь.

– Мама, мамочка, я с тобой хочу, – Фаина заплакала и прижалась к матери, – полезли вместе, нас не найдут.

– Найдут, милая, найдут. Увидят, что дома никого нет, искать начнут. Лезь, лезь, милая, скорей, ночью убежешь.

– Я не хочу без тебя, мамочка, – Фаина отчаянно мотала головой, еще крепче обнимая мать.

В это время громко скрипнула калитка, Дарья изо всех сил толкала дочь в подпол, одновременно сясь убрать руки Фаины, намертво вцепившиеся в материну кофту.

– Скорей, ну, скорей же!

В сенях загрохотали сапоги, мать уронила крышку подпола и попыталась загородить собой дочку. Ввалившиеся в избу немецкие солдаты, показывая на двор, громко скомандовали:

– Вон! Выход! Матка, вон! Шнеллер, шнеллер!

Рыжеволосый великан, схватив за руку онемевшую Дарью, вытолкнул ее в дверь. Второй солдат выволок упирающуюся Фаину и пинком спустил ее по ступенькам. Дарья охнула, бросилась к упавшей дочери, сгребла ее в охапку, и, поставив на землю, прижала к себе.

– Шнеллер, шнеллер! – рыжий детина замахнулся прикладом, Дарья, закрыв собой дочь, повела ее мелкими шажками со двора. По всей улице, подгоняемые окриками и толкаемые в спину прикладами, почти бежали сельчане. Сзади ковыляла бабка Нюра, громко стучавшая клюкой, изо всех сил старавшаяся поспеть за всеми.

Людской поток стремительно приближался к колхозному амбару, стоявшему почти на окраине Глубочицы, рядом с большим и таким плодовитым лесом. Сколько в нем всегда черники урождалось, на все село хватало! Еще и гостям из Себежа оставалось – если к кому родные из райцентра приезжали, сразу в лес – за «добычней» шли. Тут тебе и черника, и малина, и грибы. А озера какие! Глубокие, прохладные, вода в них голубая-голубая, прозрачная, кинешь иголку и смотришь, как она вниз опускается...А на дне камушки, каждый видать. Красота в этих местах необыкновенная, нигде такой нет.

У открытых дверей амбара стояло четверо солдат. Тех, кто упирался, они заталкивали внутрь, били прикладами по головам, спинам, рукам. Били без разбора и малышней, и стариков. Бабку Нюру пихнули так, что она упала прямо на оказавшуюся перед нею Дарью, и они обе рухнули вниз, не успев войти в дверь. Солдаты, схватив обеих женщин, небрежно поставили их на землю и грубо втокнули внутрь.

В амбаре было всё село. Дети плакали, женщины молились, Митрич переминался на своих костылях, вздыхая и что-то тихо бормоча под нос. Бабка Нюра беспокойно оглядывалась кругом, сама себе задавая бесконечные вопросы без ответов.

– Родненькие, нас зачем сюда всех-то? В Ерманию ихню забирать будут? А я то как же? Я куда ж с клюкой-то своей? А? Родненькие?

Дарья обнимала дрожащую дочь, слезы капали на старую застиранную кофту, а она, не замечая их, гладила Фаю по худой спине, приговаривая шепотом:

– Что ж я, дура, тебя не спрятала? Что ж я наделала, проклятухая? Что ж теперя будет-то? Что ж эти злыдни задумали?

Женщина рядом вдруг зашлась в крике.

– Убьют! Убьют всех! Гореть все будем! Гореть! И дитяти! Все! Митрич, неловко повернувшись на своих костылях, закричал высоким старческим голосом, пытаясь перекрыть начавшийся со всех сторон вой:

– Цыц! Чего голосишь, дура?! А вы чего закудахтали? Одна несет невесть что, а вы выть вздумали?!

– А зачем нас сюда всех-то? – не унималась баба с растрепанными волосами, – Зачем? Соседей-то наших сожгли! Дааа, сожгли! Всех! Сама слыхала. Теперя нас жечь будут! За партизан. Господи! Я жить хочу, жиийиитть.

Рядом опять заголосили. Стоящие у выхода, начали отчаянно колотить в дверь.

– Дитёв! Дитёв выпустите, изверги! Дитёв пожалейте!

Из-за запертой двери послышались лающие окрики, в деревянные стрехи под самой крышей начали впиваться пули. Народ отхлынул вглубь амбара, началась давка, дети закричали, женщины забились в рыданиях. Бабка Нюра, потрясая клюкой, тоненько взвизгивала:

– Проклятые, ироды! Чтоб детёв ваших холера забрала! Чтоб вас всех лихоманка свалила, чтоб обезножили все!

Митрич пытался уговорить народ, но его никто не слушал. Агония страха захватила разум, женщины пытались протолкнуть вглубь своих детей, отталкивая чужих, вспыхнули драки. Били друг друга с остервенением, словно вымещая на других ужас предстоящей смерти.

Неожиданно из самой сердцевины людской толпы раздалось: «Расцветали яблони и груши». Райка в каком-то безумии полу кричала, полу выла хорошо знакомую песню. Все замолчали. В резко наступившей тишине явственнее стали слышны звуки с улицы. Раздалось ворчание моторов, один за другим заводились и куда-то уезжали мотоциклы, голоса немцев становились все тише. Наконец, наступила странная и от того страшная тишина. В амбаре молчали, даже дети перестали плакать. Одна Райка сорванным голосом попыталась завести последний куплет, но на нее так зашикали, что и она перестала петь и стояла, переводя удивленный взгляд с одного лица на другое, пока ее глаза не приобрели былую осмысленность.

– Изверги убегли куда-то, – первой нарушила молчание Рая.

– Послышать надо, может того, бензин льют? – спросил прошедший гражданскую, Митрич.

Стоявшие у дверей, прильнули к стене, напряженно вслушиваясь в каждый шорох с «воли».

– Не слышать вроде... – нерешительно протянула Дарья.

Баба с растрепанными волосами недовольно шикнула:

– Вроде? Или не слышать?

– Не слышать...Вроде... – так же нерешительно проговорила Дарья.

Баба, оттолкнув ее, сама приникла к двери. Снаружи амбара было так тихо, что, казалось, будто слышно, как плещется вода в Белом озере.

– Супостатов рядом нету, – наконец, сделала она заключение, и отошла от двери, растерянно поглядывая на сельчан. Все потрясенно молчали, не понимая, что это может означать. Неожиданно заскрежетал замок и дверь открылась. Все отшатнулись, баба со спутанными волосами, чуть не упала на стоящую рядом Дарью. В проеме двери появился пожилой немецкий солдат, который обычно сидел во дворе дома, где жил Митрич, и выводил на губной гармошке грустную протяжную мелодию. Частенько он, стараясь не попадаться на глаза своим товарищам, украдкой совал пробежавшим мимо детишкам то кусок хлеба, то банку консервов, то печенюшку.

– Вы идти на воля. Меня свизать. У мене киндер, трое. Я не хотеть убивать дети. Идти. Все идти. Шнеллер, быстро, быстро уходить.

Он протянул вперед руки, показывая, как их надо связать. В амбаре не шевелились, таким нереальным показалось спасение, что никто не мог в него поверить.

– Они уехать, ждять. Гауптман ждять. Вы бежать, быстро бежать.

Первым вышел из оцепенения Митрич.

– Бабы, выходим, быстро, порядком выходим, не давим дружку, выходим, а ну, шнель! – скомандовал старик и все, словно очнувшись от этих слов, подхватили детей и поспешили к выходу. На этот раз не было никаких драк, наоборот, бездетные женщины брали на руки чужих малышей. Две покрепче взяли под руки бабушку Ньюру и почти бегом понесли её на улицу. Дарья дрожащими руками вязала руки немца, рядом прыгала Фая, подгоняя мать. Солдат кивнул головой, Дарья, таща за руку дочь, побежала догонять сельчан, уже почти достигших опушки. У самого леса она последний раз оглянулась на родное село, такое красивое этим летним утром. У открытых дверей амбара, на земле сидел связанный немец. Словно почувствовав на себе её взгляд, он поднял голову и кивнул, хотя вряд ли уже мог кого-то разглядеть. Фая дернула мать за край кофты и, больше не оглядываясь, они устремились вглубь леса.